

Андрей Синявский

ДИССИДЕНТСТВО КАК ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Мой опыт диссидентства сугубо индивидуален, хотя как всякий личный опыт он отражает в какой-то мере более широкие и общие, разветвленные процессы, а не только мой жизненный путь. Я никогда не принадлежал к какому-либо движению или диссидентскому содружеству. Инакомыслие мое проявлялось не в общественной деятельности, а исключительно в писательстве. Притом в писательстве на первых порах тайном и по стилю закрытом, темном для широкой публики, не рассчитанном ни на какой общественно-политический резонанс.

Первый период моего писательского диссидентства охватывает примерно десять лет (с 55-го года и до моего ареста). Тогда я тайными каналами переправлял за границу рукописи и, скрывая свое имя, печатался на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Меня разыскивали как преступника, я знал об этом и понимал, что рано или поздно меня схватят, согласно пословице "сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать". В результате само писательство приобретало характер довольно острого детективного сюжета, хотя детективы я не пишу и не люблю и как человек совсем не склонен к авантюрам. Просто я не видел иного выхода для своей литературной работы, чем этот скользкий путь, предосудительный в глазах государства и сопряженный с опасной игрой, когда на карту приходится ставить свою жизненную судьбу, свои человеческие интересы и привязанности. Тут уж ничего не поделаешь. Надо выбирать — в самом себе — между человеком и писателем. Тем более опыт писательских судеб в Советском Союзе дает понимание, что литература это рискованный и подчас гибельный путь, а писатель, совмещающий литературу с жизненным благополучием, очень часто в советских условиях перестает быть настоящим писателем.

С самого начала литературной работы у меня появилось, независимо от собственной воли, своего рода раздвоение личности, которое и до сих пор продолжается. Это — раздвоение между авторским лицом Абрама Терца и моей человеческой натурой (а также научно-академическим обликом) Андрея Синявского.

Как человек я склонен к спокойной, мирной, кабинетной жизни и вполне ординарен. Соответственно, и люди чаще всего ко мне, как к человеку, доброжелательно относятся. То же можно сказать о моей научно-исследовательской или преподавательской работе, которой я и в те годы занимался параллельно писательству, и сейчас продолжаю заниматься. Хотя у меня и случались по этой части различные неудобства в жизни (в связи с тем, например, что я занимался одно время поэзией Пастернака), но это, в общем, пустяки. В целом моя научная и литературно-критическая карьера складывалась довольно удачно. И я был бы, наверное, до сего дня вполне благополучным сотрудником советской Академии наук и преуспевающим литературным критиком либерального направления, если бы не мой темный писательский двойник по имени Абрам Терц. Этот персонаж, в отличие от Андрея Синявского, склонен идти запретными путями и совершать различного рода рискованные шаги, что и навлекло на его и, соответственно, на мою голову массу неприятностей. Мне представляется, однако, что это "раздвоение личности" не вопрос моей индивидуальной психологии, а скорее проблема художественного стиля, которого придерживается Абрам Терц, — стиля ироничного, утрированного, с фантазиями и гротеском. Писать так, как принято или как велено, мне просто не интересно. Если бы мне, допустим, предложили описывать обычную жизнь в обычной реалистической манере, я вообще отказался бы от писательства. И поскольку политика и социальное устройство общества это не моя специальность, то можно сказать в виде шутки, что у меня с советской властью вышли в основном эстетические разногласия. В итоге Абрам Терц — это диссидент главным образом по своему *стилистическому* признаку. Но диссидент наглый, неисправимый, возбуждающий негодование и отвращение в консервативном и конформистском обществе.

Здесь уместно немного отвлечься и напомнить, что всякая настоящая литература в новой истории это чаще всего отступление от правил "хорошего тона". Литература по своей природе это инакомыслие (в широком смысле слова) по отношению к господствующей точке зрения на вещи. Всякий писатель это инакомыслящий элемент в обществе людей, которые думают одинаково или, во всяком случае, согласованно. Всякий писатель

— это отщепенец, это выродок, это не вполне законный на земле человек. Ибо он мыслит и пишет вопреки мнению большинства. Хотя бы вопреки устоявшемуся стилю и сложившемуся уже, апробированному направлению в литературе.

Может быть, писателя, в принципе, надо убивать. Уже за одно то, что пока все люди живут как люди, он — *пишет*. Само писательство это инакомыслие по отношению к жизни. В России один из тюремщиков мне как-то признался в интимную минуту: "— Всех писателей без исключения, независимо от их величины — Шекспира, Толстого, Достоевского, — я бы поместил в один большой сумасшедший дом. Потому что писатели только мешают нормальному развитию жизни". И я думаю, этот человек по-своему где-то прав. В том смысле прав, что писатель самим фактом своего существования вносит какое-то беспокойство в общество. В особенности это касается стандартизованного общества, которое живет и мыслит по государственным предписаниям. Писатель в таком обществе — преступник. Преступник более опасный, чем вор или убийца. Мне говорили в тюрьме по поводу моих сочинений: "лучше бы ты человека убил!" Хотя в этих сочинениях я не писал ничего ужасного и не призывал к свержению советской власти. Достаточно уже одного того, что ты как-то по-другому мыслишь и по-другому, по-своему ставишь слова, вступая в противоречие с

общегосударственным стилем, с казенной фразой, которая всем управляет. Для таких авторов, так же как для диссидентов вообще, в Советском Союзе существует специальный юридический термин: "особо опасные государственные преступники". Лично я принадлежал к этой категории. И надеюсь до конца дней остаться в глазах советского общества "особо опасным государственным преступником"...

Между тем, я не был с самого начала таким плохим человеком. Мое детство и отрочество, которые падают на 30-е годы, протекали в здоровой советской атмосфере, в нормальной советской семье. Отец мой, правда, не был большевиком, а был в прошлом левым эсером. Порвав с дворянской средой, он ушел в революцию еще в 909 году. Но к власти большевиков, сколько она его ни преследовала за прежнюю революционную деятельность, он относился в высшей степени лояльно. И, соответственно, я воспитывался в лучших традициях русской революции или, точнее сказать, в традициях революционного идеализма, о чем, кстати, сейчас нисколько не сожалею. Не сожалею потому, что в детстве перенял от отца представление о том, что нельзя жить узкими, эгоистическими, "буржуазными" интересами, а необходимо иметь какой-то "высший смысл" в жизни.

Впоследствии таким "высшим смыслом" для меня стало искусство. Но в 15 лет, накануне войны, я был истовым коммунистом-марксистом, для которого нет ничего прекраснее мировой революции и будущего всемирного, общечеловеческого братства.

Хочу попутно отметить, что это довольно типичный случай для биографии советского диссидента вообще (доколе мы говорим о диссидентстве как о конкретном историческом явлении). Диссиденты в своем прошлом это чаще всего очень идейные советские люди, то есть люди с высокими убеждениями, с принципами, с революционными идеалами. В целом, диссиденты это порождение самого советского общества послесталинской поры, а не какие-то чужеродные в этом обществе элементы и не остатки какой-то старой, разбитой оппозиции. На всем протяжении советской истории существовали противники советской власти, люди ею недовольные или от нее пострадавшие, ее критикующие, которых тем не менее невозможно причислить к диссидентам. Мы также не можем назвать диссидентами, например, Пастернака, Мандельштама или Ахматову, хотя они были еретиками в советской литературе. Своим инакомыслием они предварили диссидентство, они помогли и помогают этому позднему процессу. Но диссидентами их назвать нельзя по той простой причине, что своими корнями они связаны с прошлым, с дореволюционными традициями русской культуры. А диссиденты это явление принципиально новое и возникшее непосредственно на почве советской действительности. Это люди, выросшие в советском обществе, это дети советской системы, пришедшие в противоречие с идеологией и психологией отцов. И этим, мне кажется, отчасти объясняется интерес современного Запада к проблемам советского диссидентства. Ибо диссиденты это взгляд на советское общество изнутри его самого. Их нельзя обвинить в чужеклассовом происхождении или в том, что они не принимают революции как люди от нее потерпевшие. И это не политическая оппозиция, которая борется за власть. Характерно, что политический акцент в диссидентстве вообще притушен и на первый план выдвигаются интеллектуальные и нравственные задачи. Этим, в частности, они заметно отличаются от русских революционеров прошлого. И если производят какую-то, условно назовем, "революцию", то — в виде переоценки ценностей, с которой и начинается диссидентство.

У каждого диссидента этот процесс переоценки ценностей происходит индивидуально, под воздействием тех или иных жизненных противоречий. У каждого нашелся свой камень преткновения. Для очень многих диссидентов, мы знаем, таким камнем преткновения был XX съезд партии в 56-м году. Не потому, что только тогда у них открылись глаза на колоссальные преступления прошлого. А потому, что, раскрыв какую-то часть этих преступлений, XX съезд и вся последующая советская идеология не дали и не могут дать этому никакого, сколько нибудь серьезного, исторического объяснения. И хотя режим относительно смягчился после Сталина, это не привело к либерализации и демократизации государственной системы как таковой, что послужило бы хоть какой-то гарантией человеческих прав и человеческой свободы. В итоге XX съезда советским людям было просто предложено, как встарь, во всем доверяться партии и государству. Но эта вера слишком уже дорого стоила в недавнем прошлом и чересчур далеко завела. И вот у диссидентов партийная или детская вера в справедливость коммунизма уступает место индивидуальному разуму и голосу собственной совести. Поэтому диссидентство это прежде всего, на мой взгляд, движение интеллектуальное, это процесс самостоятельного и бесстрашного думания. И вместе с тем эти интеллектуальные или духовные запросы связаны с чувством моральной ответственности, которая лежит на человеке и заставляет его независимо мыслить, говорить и писать, без оглядки на стандарты и подсказки государства.

Лично у меня этот "общедиссидентский" процесс протекал несколько по-иному. Временем переоценки ценностей и формирования моих индивидуальных взглядов была эпоха второй половины 40-х и начала 50-х годов. Эта эпоха позднего, зрелого и цветущего сталинизма совпала с моей студенческой юностью, когда, после войны, я начал учиться на филологическом факультете Московского университета. А главным камнем преткновения, который привел к обвалу революционных идеалов, послужили проблемы литературы и искусства, которые с особой остротой встали в этот период. Ведь как раз тогда проводились ужасающие чистки в области советской культуры. На мою беду, в искусстве я любил модернизм и все, что тогда подвергалось

истреблению. Эти чистки я воспринял как гибель культуры и всякой оригинальной мысли в России. Во внутреннем споре между политикой и искусством я выбрал искусство и отверг политику. А вместе с тем стал присматриваться вообще к природе советского государства — в свете произведенных им опустошений в жизни и в культуре. В результате смерть Сталина я уже встретил с восторгом... И потому, начав писать "что-то свое, художественное", заранее понимал, что этому нет и не может быть места в советской литературе. И никогда не пытался и не мечтал это напечатать в своей стране, и рукописи с самого начала пересылал за границу. Это было просто выпадением из существующей литературной системы и литературной среды. Пересылка же произведений на Запад служила наилучшим способом "сохранить текст", а не являлась политической акцией или формой протеста.

Поэтому, когда меня арестовали и когда начался второй период моей писательской жизни, я не признал себя виновным в политических преступлениях. Это было естественным поведением, а не какой-то хитростью с моей стороны. Вообще, человек, попав в тюрьму, должен вести себя естественно, и только это помогает. Писателю, в частности, естественно утверждать, что литература неподсудна и не является политической агитацией и пропагандой, как это утверждает советское правительство, ведущее, кстати говоря, свободно и неподсудно политическую агитацию на Западе... Таким образом мне и моему другу Юлию Даниэлю удалось остаться на позиции "не признания себя виновными", вопреки давлению суда и органов госбезопасности.

Это довольно тяжелое давление, связанное с твоей жизнью и жизнью твоей семьи. И наше "непризнание" сыграло определенную роль в развитии диссидентского или, как его называют, демократического движения, хотя мы прямо с этим движением никак не были связаны, а действовали в одиночку.

Дело в том, что раньше на всех публичных политических процессах в Советском Союзе "преступники" (в кавычках и без кавычек) признавали себя виновными, и калялись, и публично унижались перед советским судом. На этом и строилось советское политическое правосудие. Конечно, и раньше находились люди, не раскаявшиеся и не признавшие себя виновными. Но об этом никто не знал. Они погибли в неизвестности. А внешне все обстояло гладко: "враги народа" сами признавали себя "врагами народа" и просили, чтобы их расстреляли или, еще лучше, чтобы их не расстреливали, потому что они исправятся и, искупив свою вину перед Родиной, станут хорошими, честными советскими людьми. Со стороны властей это было приведением родины к единому знаменателю, к "морально-политическому единству советского народа и партии". Нам, диссидентам, удалось эту традицию нарушить. Нам повезло остаться самими собою, вне советского "единства". И в нашем с Юлием

Даниэлем судебном эпизоде произошло так, что это получило огласку и поддержку в стране и на Западе, в виде "общественного мнения". Все это случилось помимо нашей воли. Находясь в тюрьме и стоя перед судом, мы не предполагали, что вокруг нашего процесса начнется какой-то другой процесс. Мы были изолированы и не могли думать, что это вызовет какие-то "протесты" в стране и за рубежом и поведет к какой-то цепной реакции. Мы просто были писателями и стояли на своем.

Здесь опять-таки уместно вспомнить, что "диссидент" (я беру это понятие сейчас в самом общем и широком выражении) это не только человек, который мыслит несогласно с государством и имеет смелость высказывать свои мысли. Это также человек, который не сломался под давлением государства и не признал себя виновным. Разумеется, это дело личного выбора и никто никому не должен навязывать "нормы поведения" перед советским судом. Это проблема каждого, в отдельности, человека. Но понятие "диссидент" предполагает известного рода нравственное сопротивление или силу совести, что не позволяет ему раскаяться и превратиться в обычного советского человека, который всю жизнь говорит под диктовку государства. Вот почему в последние годы на судах и под следствием в Советском Союзе происходит строгий отбор. Одни не раскаиваются в своих словах и поступках и потому идут в лагерь и остаются диссидентами. Другие, раскаявшись в диссидентстве, отказавшись от себя, выходят на волю и вновь становятся "честными советскими людьми"... Проверка "диссидента" — тюрьма.

Теперь я обращаюсь к третьему и последнему периоду моего диссидентского опыта, который относится к эмиграции, к сегодняшнему дню. На этом материале я хочу несколько задержаться, поскольку он особенно сложен и, на мой взгляд, драматичен. При этом я почти не буду касаться собственно Запада.

Меня интересует в данном случае диссидентско-эмигрантская среда и печать, в которую мне довелось окунуться достаточно глубоко и вынести оттуда весьма неутешительный личный опыт.

То, что в самое последнее время происходит с диссидентами, приехавшими на Запад, я бы обозначил понятием "диссидентский НЭП". Это понятие я употребляю не как научный термин, а скорее как образ по аналогии с тем колоритным периодом советской истории, который начался в 20-е годы, после гражданской войны, и продолжался лет пять или семь. Тогда власть предоставила стране так называемую экономическую "передышку" с целью наладить разрушенное войной и революцией хозяйство. Как известно, это сравнительно мирный и благополучный период, позволивший народу вздохнуть относительно свободнее и немного откормиться. Вместе с тем это время разгрома всяческих оппозиций и создания мощной сталинской консолидации, время перерождения революции как бы в собственную противоположность, в консервативное, мещанско-бюрократическое устройство. Достоин удивления факт, что в годы НЭПа многие герои революции и

гражданской войны проявили себя как трусы, приспособленцы, покорные исполнители новой государственности, как обыватели и конформисты.

Значит ли это, что они в недавнем прошлом не были подлинными героями? Нет, безусловно они были героями, они шли на смерть и ничего не боялись. Но изменился исторический климат, и они попали как будто в другую среду, требующую от человека других качеств, а вместе с тем — как будто в *свою* среду победившей революции. И вот вчерашние герои, если не погибают, то превращаются в заурядных чиновников.

Теперь переведем некоторые черты НЭПа на наш диссидентский опыт. Попав на Запад, мы оказались не только в ином обществе, но в ином историческом климате, в ином периоде своего развития. Это мирный и сравнительно благополучный период в нашей собственной истории. Нам приходится выдерживать испытание — благополучием. А также испытание — демократией и свободой, о которых мы так мечтали. В диссидентском плане нам ничто не угрожает, кроме собственного перерождения. Ведь быть диссидентом на Западе (диссидентом по отношению к советской системе) очень легко. То, что в Советском Союзе нам угрожало тюрьмой, здесь, при известном старании, сулит нам престиж и материальный достаток. Только само понятие "диссидент" здесь как-то обесцвечивается и теряет свой героический, свой романтический, свой нравственный ореол. Мы ничему, в сущности, не противостояем и ничем не рискуем, а как будто машем кулаками в воздухе, думая, что ведем борьбу за права человека. Разумеется, при этом мы искренне желаем помочь и порою действительно помогаем тем, кого преследуют в Советском Союзе, и это надо делать, и надо помнить о тех, кто там находится в тюрьме. Только с нашей-то стороны (и об этом тоже стоит помнить) все это уже никакая не борьба, не жертва и не подвиг, а скорее благотворительность, филантропия. И даже — заработок, средство собственного прокормления, а иногда, к сожалению, и доходное предприятие.

Вот это последнее обстоятельство вносит порою не совсем благородный привкус в диссидентское дело на Западе.

Конечно, всякому человеку нужны деньги, и если у диссидента нет другой специальности, ему приходится зарабатывать на жизнь этим проторенным путем. Нужны также деньги, чтобы издавать книги, журналы, собирать конференции и т.д. И все это вещи полезные и совершенно необходимые в России, и

Западу. Однако деньги, как это известно во все времена, не только дают возможность творить добро или позволяют жить независимо, но, случается, развращают и даже закабаляют. И диссиденты поддаются этому общечеловеческому закону. Я не называю никаких имен, потому что дело не в именах, а в тенденциях. А тенденция состоит, к сожалению, в том, что бывают случаи, когда диссидент, оказавшись на Западе, теряет главное свое преимущество — независимость и смелость мысли и идет в услужение какой-то диссидентско-эмигрантской корпорации или какому-то диссидентскому боссу-идеологу. И говорит уже не то, что думает, а то, что от него требуется. И свое приспособление мотивирует словами: "А здесь иначе не проживешь!" Причем это говорит человек, который вчера еще рисковал жизнью за свои убеждения. Что же получается? В

Советском Союзе, в тюрьме, он был внутренне свободным человеком и мог жить по-своему, по-другому, чем большинство, не поддаваясь никакому давлению и никакому подкупу? А здесь, в ситуации свободы, он приспособливается к обстановке, потому что, вдруг выясняется, "здесь иначе не проживешь"?

Свобода, выходит, для него, для диссидента, психологически опаснее, чем тюрьма? Дайте нам свободу, и мы станем — рабами? Или прав Великий Инквизитор Достоевского, сказавший, что люди не любят свободы и ее боятся, а ищут какую-то опору в жизни, в виде хлеба, авторитета и чуда? Люди ищут перед кем бы преклониться и "чтобы непременно *все вместе*", ищут "*общности* преклонения" перед каким-то авторитетом, которому они и отдают свою свободу... Однако мы здесь занимаемся не проблемами человеческой истории и психологии вообще, а конкретным явлением — диссидентства. Так вот применительно к диссидентам на Западе главная опасность приспособленчества или конформизма состоит, мне кажется, в потребности общего, непременно общего, совместного преклонения перед чем-то или перед кем-то.

Здесь следует учитывать специфику эмигрантской жизни. Ведь приезжая на Запад, мы оказываемся очень одинокими и страдаем от своего одиночества. И это особенно касается русских людей, которые привыкли к более тесному дружескому общению, чем это мы наблюдаем в западном образе жизни. Естественно, мы ищем *своих* людей, *свою* среду и таковую находим в виде диссидентско-эмигрантского сообщества. И легко идем на уступки этой среде и ее авторитетам, поскольку боимся ее потерять, а выбор весьма и весьма ограничен. Единomyслие, которое возникает в этой среде, узость этой среды и ее замкнутость, а порою ее консервативность и подчиненность одному авторитетному лицу, иногда даже материальная зависимость от этого лица и от этой среды, — все это и создает благоприятную почву для развития конформизма. При этом мы сами не всегда замечаем, как из диссидентов мы становимся конформистами. Ведь мы не совершаем предательства, не переходим из одного лагеря в другой лагерь. Мы только слегка приспособливаемся.

Но точно так же не замечали своего перерождения герои революции в период НЭПа. Ведь они не изменяли идеалам коммунизма. А только из революционеров становились послушными партийными функционерами. Вот почему я боюсь, что мы в эмиграции, под теплым крылом демократического Запада, сами того не желая и не сознавая, воспроизводим в миниатюре прообраз советской власти. Только с другим, антисоветским знаком. Да еще существенное различие: у нас нет своей полиции и нет своих тюрем. Но своя

цензура уже есть. И свои доносчики тоже уже есть. Только опять-таки западная полиция почему-то не принимает наши доносы. Ах, да, мы забыли: ведь здесь же — демократия!..

Для стороннего зрителя, который интересуется нашими проблемами, не всегда понятно, о чем и почему так горячо спорят между собою советские диссиденты, выехавшие на Запад. И почему у нас нет единства взглядов: ведь все же мы — диссиденты. Лично я считаю, что у нас единства больше, чем достаточно.

Даже с излишком, в ущерб нашему диссидентству. Ведь диссиденты по своей природе это не какая-то политическая партия и даже не идеология. Отказ от советской идеологии предполагает не только инакомыслие по отношению к *этой* идеологии, но также разномыслие внутри инакомыслия. Если мы еретики, то ересей должно быть много. И в этом, мне представляется, ценность диссидентства, которое в идеале это не зачаток новой церкви или нового, единого антисоветского государства, но плюралистическое общество, хотя бы на бумаге.

Я говорил уже, что советские диссиденты по своей природе это интеллектуальное, духовное и нравственное сопротивление. Спрашивается теперь: сопротивление — чему? Не просто ведь советскому строю вообще. Но — сопротивление унификации мысли и ее омертвлению в советском обществе. И если мы хотим, чтобы вольная русская мысль, вольное русское слово и культура развивались, нам необходимо разномыслие. Это важнейшее условие развития русской культуры. Почему на Западе возможно разномыслие, а у нас, у диссидентов, не может быть и не должно быть разномыслия? Мы такие же, между прочим, люди. С зачатками разума, правосознания...

Помимо того, в диссидентском движении (в особенности на эмигрантской почве) в последнее время происходит очевидный раскол. Это раскол на два крыла или направления, которые условно можно обозначить как "авторитарно-националистическое" крыло, во-первых, и "либерально-демократическое", во-вторых. По природе своей диссидентство либерально и демократично, и с этого оно начиналось. И потому были и остаются синонимы: "советские диссиденты" — или "демократическое движение". "Национально-авторитарное" крыло выявилось позднее и вступило в противоречие, как мне кажется, с основными посылами диссидентства. Понятно, в результате и в процессе этого раскола, который еще не закончился, вспыхивают сейчас серьезные и принципиальные разногласия. Они-то и составляют основу наших споров.

Сам я принадлежу к либерально-демократическому крылу. Не потому, что я верю в скорую победу свободы и демократии в России. Напротив, в такую победу я совсем не верю. Во всяком случае, я не вижу такой перспективы в ближайшем, обозримом будущем. Но в условиях советского деспотизма русскому интеллигенту подобаает, на мой взгляд, быть либералом и демократом, а не предлагать какой-то иной вариант нового деспотизма. Пускай, допустим, у демократии как социально-государственного устройства нет никакого будущего в России. Все равно наше призвание оставаться сторонниками свободы. Ибо "свобода", как и некоторые другие "бесполезные" категории — например, искусство, добро, человеческая мысль, — самоценна и не зависит от исторической или политической конъюнктуры.

Вот почему я не могу согласиться с теми диссидентами, которые предлагают сменить коммунистический деспотизм другой разновидностью деспотизма — под национально-религиозным флагом, пускай, может быть, подобные перемены исторически осуществимы. И хотя сам я принадлежу к православному вероисповеданию и очень люблю древне-русскую культуру, а также многих писателей и мыслителей славянофильского круга, меня в современном русском национализме весьма настораживает и охлаждает идеализация государственных и социальных порядков России в ее прошлом. Я против смешения ценностей духовных и земных, религиозных и политических.

Скажем, многие современные русофилы склонны упрекать Запад за формализованный образ жизни, за то, что здесь господствуют юридические и рационалистические категории "закона" и "права", тогда как, дескать, России, изначально, присущи понятия христианской "любви" и "милости". И "милость" выше "закона"... Да, согласен. Божественная милость и любовь выше и больше всех человеческих, установленных на земле, законов. Но в применении к государственному устройству мне эта теория представляется опасной и оскорбительной. Опасной — для человека, оскорбительной — для религии. Ведь деспотическим государством (при всех его религиозных склонностях) в действительности управляет не Бог, не Христос, а царь или вождь, который, к сожалению, нередко больше похож не на Бога, а на чорта, даже если это православный царь. Конечно, этот царь имеет возможность проявлять "милость" в обход "закона". Но сама эта "милость", для того чтобы проявиться, нуждается в невероятной, бесконтрольной, самодержавной власти. А такая власть на практике оборачивается не любовью и не милостью, а — казнями. Точнее говоря: много-много казней и немножко милости. Так что уж лучше, на мой вкус, формализованный и рационалистический "закон", чем царская "милость".

Русские диссиденты, попав на Запад, подчас побаиваются здешней демократии. Им кажется, Запад вот-вот развалится под напором монолитной, тоталитарной системы Советского Союза. И предлагают Западу перестроиться на более авторитарных началах. Да и будущей России, соответственно, желают не демократии, а более прочной авторитарно-теократической системы управления. В итоге люди, которых западная демократия, можно сказать, спасла от гибели, теперь, ею спасенные, хотели бы ее ограничить. Отсюда же нравоучительные и

учительские сентенции Западу со стороны некоторой части советских диссидентов, которые этот Запад впервые видят и плохо знают.

Наверное, нам следует быть скромнее и, передавая Западу свой печальный опыт, остерегаться учить его, как жить и строить свое фундаментальное западное общество. Свое общество мы уже построили в образе коммунистического государства, от которого не знаем куда деваться... Новые русские националисты, правда, на это возражают, что все наши российские беды пришли с Запада. С Запада явился марксизм. С Запада пришел либерализм, подточивший самодержавно-патриархальные устои России. С Запада проникли инородцы (поляки, евреи, латыши, венгры), которые и произвели Октябрьскую революцию. Все это поиски "виновного" где-то на стороне. Не мы виноваты, а кто-то чужой (Запад, мировой заговор, евреи...). По существу это отчуждение собственных грехов и оплошностей. Мы-то хорошие на самом деле, мы — чистые, мы — самые несчастные. Потому что мы — русские. А это "чорт" вмешался в нашу историю...

То, что я говорю здесь, это — кощунство, с точки зрения националистов. За подобные настроения русские националисты называют русских либералов (и меня, в частности) — *русофобами*. Мы, дескать, так же как прогнивший, либеральный, атеистический Запад, вкупе с коммунистами, ненавидим русский народ и Россию. От этого обвинения трудно защититься. Ведь не кричать же в голос, что ты любишь Россию? Смешно... По моим-то наблюдениям русофобов не так уж много на Западе.

Подобного же типа "русофильская" позиция содержит неуважение к русскому народу. Если Россию завоевала кучка инородцев, то какова же цена этой великой нации? И если России противопоказана демократия, то не значит ли, что сам народ, в такой трактовке, склонен к рабству? Кстати говоря, эта боязнь демократии применительно к русскому народу имела горькие прецеденты в нашей истории. "Русские патриоты" так долго не решались отменять крепостное право в России — из опасения: как же дать свободу русскому мужику? — ведь без помещичьей опеки он сразу бросит работать и сопьется !..

Таковы наши споры в самых общих и утрированных чертах. Эти споры полезны для выявления разных точек зрения на вещи, но практически довольно утопичны. Советская власть весьма прочна и не сулит никакой свободы (в том числе — для создания православной теократии или автократии). А мы уже спорим: нужна ли нам свобода? И стрелка компаса, как это давно повелось, склоняется в сторону деспотизма. Печальный знак...

Как это ни странно, в нашей среде на Западе большим успехом и влиянием пользуется авторитарно-националистическое крыло, нежели демократическое. Это связано с тем, что по самому психологическому складу авторитарное направление более партийно, дисциплинировано, прямолинейно, более повинует авторитету "вождя", нежели демократы, которым, по природе, свойственны терпимость, плюрализм, разномыслие.

Кроме того, основная масса старой эмиграции, составляющая большинство русской публики, или, так сказать, здешняя российская почва поддерживает национализм и сторонников авторитарной системы, в силу своей застарелой, еще монархической консервативности. Для старых эмигрантов дореволюционная Россия это непререкаемый идеал, к которому, по их представлениям, только и мечтает вернуться нынешняя народная Россия, оккупированная большевиками. Одна милая пожилая дама в Париже, узнав, что я недавно из Москвы, спросила, бывал ли я когда-нибудь в московских церквях и встречал ли там "*наших*". "— Каких наших?" — прошептал я испуганно. Она ответила: "— Белых!" На этом уровне понимания диссиденты-демократы, приезжающие на Запад, что-то вроде "советских бесов", специально посланных сюда большевиками, для того чтобы "разоружить" последний оплот Отечества.

Интересно, однако, что и западные круги порою склоняются в пользу русских националистов и авторитарников, хотя диссиденты-демократы им психологически ближе. Логика здесь такая: свобода и демократия хороши для Запада, а для России нужно что-нибудь попроще и пореакционнее. Как для дикарей. Задам чисто риторический вопрос: не потому ли демократическая Америка порою поддерживала в отсталых странах крайне реакционные, диктаторские, авторитарные режимы, надеясь таким способом уберечь эти страны от коммунистической заразы и на этой политике, случалось, проигрывала? Но меня интересует не американская политика, в которой я плохо разбираюсь, а русская культура. И вот эта разность интересов подчас нам мешает столкнуться и понять друг друга. Сошлюсь, в виде иллюстрации, на частный разговор, который был у меня недавно с одним очень умным и тонким западным советологом. По своим убеждениям и вкусам он либерал и демократ, но политическую ставку делает на русский авторитаризм и национализм. Как человека культурного, его шокирует грубость этого направления, и, будь он русский, он никогда бы к нему не примкнул. Но оно ему представляется более перспективным и выгодным для Запада движением, нежели русские демократы. Я его спрашиваю: — А вы не боитесь, что в результате на смену советскому режиму или, скорее всего, в виде какого-то с ним альянса в России просто-напросто восторжествует откровенный фашизм? Оказалось, это его несколько не смущает. В русском фашизме он видит реальную альтернативу советскому коммунизму и надеется, что русский фашизм, занявшись своими национальными делами, спасет Запад от коммунизма. Я не столь оптимистичен. Кроме того, на мой взгляд, от коммунизма Запад должен спасаться собственными силами, а не с помощью чьих-то фашизмов. Но главное разногласие состоит в том опять-таки, что для русской культуры нужна свобода, а для моего западного собеседника русская культура — дело третъестепенное и, вообще,

необязательное. Ему важно спасти мир от катастрофы. За такие большие задачи, как спасение мира, лично я не берусь. У меня узкая специальность: писатель.

В заключение мне остается лишь подтвердить мое "диссидентство". Под обвалом ругани это нетрудно. В эмиграции я начал понимать, что я не только враг советской власти, но я вообще — враг. Враг как таковой. Метафизически, изначально. Не то, чтобы я сперва был кому-то другом, а потом стал врагом. Я вообще никому не друг, а только — враг... Разумеется, Запад на эти "русские штучки" только радостно улыбается: экзотика. Ведь Запад не читает русскую прессу по ту и по другую сторону океана. А я - читаю. И вижу. И вот какой вывод: там, в Советском Союзе, я был "агентом империализма", здесь, в эмиграции, я — "агент Москвы". Между тем я не менял позиции, а говорил одно и то же: искусство выше действительности. Грозное возмездие настигает меня оттуда и отсюда. За одни и те же книги, за одни и те же высказывания, за один и тот же стиль. За одно и то же преступление. Психологически это немного похоже на страшный сон во сне, который не может окончиться. Знаете, как бывает во сне: вроде бы проснулся, а это только еще худшее, еще более глубокое продолжение твоего сна. Куда ни кинься - ты враг народа. Нет, еще хуже, еще страшнее: ты — Дантес, который убил Пушкина. И Гоголя *ты* тоже — убил. Ты — ненавидишь культуру. Ты ненавидишь "все русское" (раньше, в первом сне, это звучало "ты ненавидишь все советское", а впрочем "все русское" я уже тогда тоже ненавидел). Ты ненавидишь собственную мать (уже покойную). Ты — антисемит. Ты — человеконенавистник. Ты — Иуда, который предал Христа в виде нового, коммунистического, национально-религиозного Возрождения в России. Сам-то я, в уме, думаю, что я, при всех недостатках, с Христом, а не с Антихристом. Но мало ли что я думаю... Все это субъективно. Объективно же, то есть общественно, публично, я враг всему прекрасному на свете. И более того — всему доброму, всему человеческому... Хватаюсь за голову. Спрашиваю себя: как я мог дойти до таких степеней падения? А ведь был когда-то хороший мальчик. Как все люди. Но, видимо, общество лучше меня знает, кто я такой. После советского суда — пожалуйста — эмигрантский суд. И те же улики. Конечно, не посадят в лагерь. Но ведь лагерь это не самое страшное. Там даже хорошо, по сравнению с эмиграцией, где скажут, что ты вообще ни в каком лагере не сидел, а послан "по заданию" — разрушить русскую культуру...

Один вопрос меня сейчас занимает. Почему советский суд и антисоветский, эмигрантский суд совпали (дословно совпали) в обвинениях мне, русскому диссиденту! Всего вероятнее, оба эти суда справедливы и потому похожи один на другой. Кому нужна свобода? Свобода — это опасность. Свобода это безответственность перед авторитарным коллективом. Бойтесь — свободы!

Но проснешься, наконец, утром после всех этих снов и криво усмехнешься самому себе: ты же этого хотел? Да, все правильно. Свобода! Писательство — это свобода.